

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 49

1989



Анна АХМАТОВА

СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 49

Издается с января 1925 года

Анна АХМАТОВА

СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Проза Ахматовой... Для многих это звучит, наверно, так же непривычно, как, скажем, «поэзия Достоевского». Действительно, за всю свою долгую жизнь Анна Ахматова не написала ни одного романа, повести или хотя бы рассказа. И все-таки проза Ахматовой существует. В одном из вариантов автобиографии Ахматова писала: «Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о прозе. Я или боялась ее или ненавидела. В приближении к ней чудилось кощунство, или это означало редкое для меня душевное равновесие».

Близкие ей по духу поэты-современники видели в ее ранних лирических стихах черты, сближающие их с русской классической прозой. Осип Мандельштам еще в начале 20-х годов утверждал, что «генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу». Ту же мысль высказал Борис Пастернак, упомянув в стихах, посвященных Анне Ахматовой, о ее первых поэтических сборниках, «...где крепи прозы пристальной крупницы...»

Можно, пожалуй, сказать, что эти крупницы прозы, растворенные в ранней поэзии Ахматовой, кристаллизовались в поздние ее годы в лирическую прозу, лаконичную и точную прозу поэта.

При жизни Анны Ахматовой из ее произведений в прозе, помимо литературоведческих исследований, проливающих новый свет на творчество Пушкина, немногочисленных рецензий и интервью был опубликован только автобиографический очерк «Коротко о себе». Многочисленные прозаические наброски разной степени завершенности сохранились в ее черновиках конца 50-х — начала 60-х годов. В таком виде они не предназначались автором для печати. Их полная публикация — дело будущего.

В эту книжку вошли избранные прозаические произведения Ахматовой автобиографического и мемуарного жанра, а также ее статьи и выступления, посвященные вершинам мировой культуры — Пушкину, Лермонтову, Данте. Тексты, печатаемые впервые, отмечены звездочкой в содержании.

В. Черных

КОРОТКО О СЕБЕ

Я родилась 11(23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север — в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.

Мои первые воспоминания — царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду».

Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет — древний Херсонес, около которого мы жили.

Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски.

Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина («На рождение порфирородного отрока») и Некрасова («Мороз, Красный нос»). Эти вещи знала наизусть моя мама.

Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году.

Я поступила на Юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

В 1910 (25 апреля старого стиля) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в *Taverne de Pantheon* два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут — большевики, а там — меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (*jupes-culottes*), то почти пеленали ноги (*jupes-entravées*). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раева. В это время я уже писала стихи, вошедшие в мою первую книгу.

Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете.

В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие — в акмеизм. Вместе с моими товарищами по Первому Цеху поэтов — Мандельштамом, Зенкевичем и Нарбутот — я сделалась акмеисткой.

Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуа, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.

В 1912 году вышел мой первый сборник стихов — «Вечер». Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благоклонно

1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев.

В марте 1914 года вышла вторая книга — «Четки». Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе.

Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это не живописное место: распаханнные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба... Там я написала очень многие стихи «Четок» и «Белой стаи». «Белая стая» вышла в сентябре 1917 года.

К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньше успеха, чем «Четки». Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал — книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде.

Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются.

После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник», в 1922 году — книга «Anno Domini».

Примерно с середины двадцатых годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы — о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте». Все они в свое время были напечатаны.

Работы «Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина».

С середины двадцатых годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые — перепечатывать.

Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.

До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела.

В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.

Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки «Три сирени» и «В гостях у смерти» — последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зоценку. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем архивом.

Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила. Перевожу и сейчас.

В 1962 году я закончила «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.

Прошлой зимой, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи — побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повилаась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж.

Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных.

1965

I

СЛОВО О ПУШКИНЕ

Мой предшественник П. Е. Щеголев кончает свой труд о дуэли и смерти Пушкина рядом соображений, почему высший свет, его представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело, из своей среды. Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что *они* сделали с ним, а о том, что *он* сделал с ними.

После этого океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости полетик и не-полетик, родственничков Строгановых, идиотов-кавалергардов, сделавших из дантесовской истории *une affaire de régiment* (вопрос чести полка), ханжеских салонов Нессельроде и пр., высочайшего двора, заглядывавшего во все замочные скважины, величавых тайных советников — членов Государственного совета, не постеснявшихся установить тайный полицейский надзор над гениальным поэтом, — после всего этого как торжественно и прекрасно увидеть, как этот чопорный, бессердечный («свинский», как говаривал сам Александр Сергеевич) и, уж конечно, безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались.

«Il faut que j'arrange ma maison <Мне надо привести в порядок мой дом>», — сказал умирающий Пушкин.

Через два дня его дом стал святыней для его Родины, и более полной, более лучезарной победы свет не видел.

Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий.

Он победил и время и пространство.

Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое.

В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны отсюда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин», и, что самое для них страшное, — они могли бы услышать от поэта:

За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила — право, только ваши дети
За меня вас будут проклинять.

И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный *aere perennius*¹.

26 мая 1961
Комарово

ПУШКИН И ДЕТИ

Хотя Пушкин сам меньше всего представлял себя «детским писателем», как теперь принято выражаться (когда Пушкина попросили написать что-нибудь для детей, он пришел в ярость...); хотя его сказки вовсе не созданы для детей, и знаменитое вступление к «Руслану» тоже не обращено к детскому воображению, этим произведением волею судеб было предназначено сыграть роль моста между величайшим гением России и детьми.

Все мы бесчисленное количество раз слышали от трехлетних исполнителей «кота ученого» и «ткачиху с поварихой» и видели, как палец ребенка тянулся к портрету в детской книге, и это называлось — «дядя Пушкин».

«Конька-Горбунка» Ершова тоже все знают и любят. Однако я никогда не слышала «дядя Ершов».

Нет и не было ни одной говорящей по-русски семьи, где дети могли бы вспомнить, когда они в первый раз слышали это имя и видели этот портрет. Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, никогда

¹ *Aere perennius* — крепче меди (лат.) — цитата из оды Горация: «Я воздвиг памятник крепче меди». — *Ред.*

больше не услышат и на котором никогда не будут говорить, но который все равно будет при них, как вечная драгоценность.

В 1937 г. в юбилейные дни соответственная комиссия постановила снять памятник Пушкину в темноватом сквере, поставленный в той части города, которая еще не существовала в пушкинское время, на Пушкинской улице в Ленинграде. Послали грузовой кран — вообще все, что полагается в таких случаях. Но произошло нечто беспрецедентное: дети, игравшие в сквере вокруг памятника, подняли такой рев, что пришлось позвонить куда следует и спросить, как быть. Ответили: «Оставьте им памятник», — грузовик уехал пустой.

Можно с полной уверенностью сказать, что у доброй половины этих малышей уже не было в то тяжелое время пап (а у многих и мам), но охранять Пушкина они считали своей священной обязанностью.

<1965>

ВСЕ БЫЛО ПОДВЛАСТНО ЕМУ

Это было странное, загадочное существо — царскосельский лейб-гусар, живший на Колпинской улице и ездивший в Петербург верхом, потому что бабушке казалась опасной железная дорога, хотя не казались опасными передовые позиции, где, кстати говоря, поручик Лермонтов был представлен к награде за храбрость. Он не увидел царские парки с их расстрелиями, камеронами, лжеготикой, зато заметил, как «сквозь туман кремнистый путь блестит». Он оставил без внимания знаменитые петергофские фонтаны, чтобы, глядя на Маркизову Лужу, задумчиво произнести: «Белеет парус одинокий...»

Он, может быть, много и недослушал, но твердо запомнил, что «пела русалка над синей рекой, полна непонятной тоской...»

Он подражал в стихах Пушкину и Байрону и вдруг начал писать нечто такое, где он никому не подражал, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет тем, что у актера называют «сотой интонацией». Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы. Слова, сказанные им о влюбленности, не имеют себе равных ни в какой из поэзий мира.

Это так неожиданно, так просто и так бездонно:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Если бы он написал только это стихотворение, он был бы уже великим поэтом.

Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на столет и в каждой вещи разрушает миф о том, что проза — достояние лишь зрелого возраста. И даже то, что принято считать недоступным для больших лириков — театр, — ему было подвластно.

...До сих пор не только могила, но и место его гибели полны памяти о нем. Кажется, что над Кавказом витает его дух, перекликаясь с духом другого великого поэта:

Здесь Пушкина изгнание началось
И Лермонтова кончилось изгнание...

<1964>

СЛОВО О ДАНТЕ¹

Sopra candido vel cinta d'uliva
Donna m'apparve, sotto verde manto
Vestita di color di fiamma viva².

Гвельфы и гибеллины давно стали достоянием истории, белые и черные — тоже, а явление Беатриче в XXX песни «Чистилища» — это явление навеки, и до сих пор перед всем миром она стоит под белым покрывалом, подпоясанная оливковой ветвью, в платье цвета живого огня и в зеленом плаще.

Я счастлива, что в сегодняшний торжественный день могу засвидетельствовать, что вся моя сознательная жизнь прошла в сиянии этого великого имени, что оно было начертано вместе с именем другого гения человечества — Шекспира на знамени, под которым начиналась моя дорога. И вопрос, который я осмелилась задать Музе, тоже содержит это великое имя — Данте.

...И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

¹ Выступление на торжественном заседании, посвященном 700-летию со дня рождения Данте, 19 октября 1965 г в Большом театре в Москве.

² В венке олив, под белым покрывалом,

Предстала женщина, облачена

В зеленый плащ и в платье огне-алом.

(Данте Чистилище XXX, 31—33 Перевод М. Лозинского).

Для моих друзей и современников величайшим, недостижимым учителем всегда был суровый Алигьери. И между двух флорентийских ковров Гумилев видит, как

Изгнанник бедный Алигьери
Стопой неспешной сходит в ад.

А Осип Мандельштам положил годы жизни на изучение творчества Данте, написал о нем целый трактат «Разговор о Данте» и часто упоминает великого флорентийца в стихах:

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Подвиг перевода бессмертных терцин «Божественной Комедии» на русский язык победоносно завершил Михаил Леонидович Лозинский. Эта работа была в моей стране высоко оценена критикой и читателями.

Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освещенных тем же великим именем:

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубаше покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, нежной, долгожданной...

II

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ¹

В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (то есть только для курсисток) вечер. Кому-то из

¹ Выступление по Ленинградскому телевидению 12 октября 1965 г.

устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение «На деревянном мостике у края света».

Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чествование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки, хорошее шампанское, и плохой французский язык, и тосты — и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: «Вот Аничка для себя добилась равноправия».

В артистической я встретила Блока.

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим, прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-французски».

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу читать после вас». Он — с упреком — в ответ: «Анна Андреевна, мы не тенора». В это время он уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в Цехе поэтов, и в Обществе Ревнителей Художественного Слова, и на Башне Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому.

Насколько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. Эстрада что-то вроде плахи. Может быть, тогда я почувствовала это в первый раз. Все присутствующие начинают казаться выступающему какой-то многоголовой гидрой. Владеть залой очень трудно — гением этого дела был Зоценко. Хорош на эстраде был и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто это?» Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь». Я стала отказываться: «Когда я читаю «Я надела узкую юбку», — смеются». Он ответил: «Когда я читаю «И пьяницы с глазами кроликов», — тоже смеются».

Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере Блок прослушал Игоря Северянина, вернулся в артистическую и сказал: «У него жирный адвокатский голос».

В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой — Блок». (Вот «Стихи о Прекрасной Даме».) А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут...» У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня.

Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого Драматического театра весной 1921 года Блок подошел и спросил меня: «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от него.

* * *

В тот единственный раз, когда я была у Блока, я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой».

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр Александрович!» Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.

Сегодня, через 51 год, открываю «Записную книжку» Блока и под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде».

Блок записывает в другом месте, что я вместе с Дельмас и Е. Ю. Кузьминой-Караваевой измучила его по телефону. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания.

Я позвонила Блоку. Александр Александрович со свойственной ему прямоотой и манерой думать вслух спросил: «Вы, наверное, звоните, потому что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас?» Умирая от любопытства, я поехала к Ариадне Владимировне на какой-то ее приемный день и спросила, что сказал Блок. Но она была неумолима: «Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие».

«Записная книжка» Блока дарит мелкие подарки, извлекая из забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с моим спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня есть дата — 11 июля 1916 года, отмеченная Блоком.

И снова я уже после Революции (21 января 1919 г.) встречаю в аттракционной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете».

А вот мы вдвоем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

А через четверть века все в том же Драматическом театре — вечер памяти Блока (1946), и я читаю только что написанные мною стихи:

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

МИХАИЛ ЛОЗИНСКИЙ¹

С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришел на одно из первых заседаний «Цеха поэтов». Тогда же я в первый раз услышала прочитанные им стихи.

Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе.

В труде Лозинский был неутомим. Пораженный тяжелой болезнью, которая неизбежно сломала бы кого угодно, он продолжал работать и помогал другим. Когда я еще в тридцатых годах навестила его в больнице, он показал мне фото своего разросшегося гипофиза и совершенно спокойно сказал: «Здесь мне скажут, когда я умру».

Он не умер тогда, и ужасная, измучившая его болезнь оказалась бесильной перед его сверхчеловеческой волей. Страшно подумать, именно тогда он предпринял подвиг своей жизни — перевод «Божественной Комедии» Данте. Михаил Леонидович говорил мне: «Я хотел бы видеть «Божественную Комедию» с совсем особыми иллюстрациями, чтоб изображены были знаменитые дантовские развернутые сравнения, например возвращение счастливого игрока, окруженного толпой лъстецов. Пусть в другом месте будет венецианский госпиталь и т. д.» Наверно, когда он переводил, все эти сцены проходили перед его умственным взором, пленяя своей бессмертной живостью и великолепием, ему было

¹ Выступление по Ленинградскому телевидению в мае 1965 г.

жалко, что они не в полной мере доходят до читателя. Я думаю, что не все присутствующие здесь отдадут себе отчет, что значит переводить терцины. Может быть, это наиболее трудная из переводческих работ. Когда я говорила об этом Лозинскому, он ответил: «Надо сразу, смотря на страницу, понять, как сложится перевод. Это единственный способ одолеть терцины; а переводить по строчкам — просто невозможно».

Из советов Лозинского-переводчика мне хочется привести еще один, очень для него характерный. Он сказал мне: «Если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку».

Только совсем не понимающие Лозинского люди могут повторять, что перевод «Гамлета» темен, тяжел, непонятен. Задачей Михаила Леонидовича в данном случае было желание передать возраст шекспировского языка, его непростоту, на которую жалуются сами англичане.

Одновременно с «Гамлетом» и «Макбетом» Лозинский переводит испанцев, и перевод его легок и чист. Когда мы вместе смотрели «Валенсианскую вдову», я только ахнула: «Михаил Леонидович, ведь это чудо! Ни одной банальной рифмы!» Он только улыбнулся и сказал: «Кажется, да». И невозможно отделаться от ощущения, что в русском языке больше рифм, чем казалось раньше.

В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для XX века тем же, чем был Жуковский для века XIX.

Друзьям своим Михаил Леонидович был всю жизнь бесконечно предан. Он всегда и во всем был готов помогать людям, верность была самой характерной для Лозинского чертой.

Когда зарождался акмеизм и ближе Михаила Леонидовича у нас никого не было, он все же не захотел отречься от символизма, оставаясь редактором нашего журнала «Гиперборей», одним из основных членов Цеха поэтов и другом нас всех.

Кончая, выражаю надежду, что сегодняшний вечер станет этапом в изучении великого наследия того, кем мы вправе гордиться как человеком, другом, учителем, помощником и несравненным поэтом-переводчиком.

Когда весной сорокового года Михаил Леонидович держал корректуру моего сборника «Из шести книг», я написала ему стихи, в которых все это уже сказано:

Почти от залетейской тени
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары,
Чтоб та, над временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена,—
Мне улыбнулась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад...

И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград...
Возникли, словно в книге этой
Из мглы магических зеркал,
И над задумчивою Летой
Тростник оживший зазвучал.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

(Листки из дневника)

I

...И смерть Лозинского каким-то таинственным образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспоминать что-то, что он уже не может подтвердить (о Цехе поэтов, акмеизме, журнале «Гиперборей» и т. д.). Последние годы из-за его болезни мы очень редко встречались, и я не успела договорить с ним чего-то очень важного и прочесть ему мои стихи тридцатых годов. От этого он в какой-то мере продолжал считать меня такой, какой он знал меня когда-то в Царском. Это я выяснила, когда в 1940 г. мы смотрели вместе корректуру сборника «Из шести книг»...

Что-то в этом роде было и с Мандельштамом (который, конечно, все мои стихи знал), но по-другому. Он вспоминать не умел, вернее, это был у него какой-то иной процесс, названия которому сейчас не подобрать, но который, несомненно, близок к творчеству. (Пример — Петербург в «Шуме времени», увиденный сияющими глазами пятилетнего ребенка.)

Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки. С необычайной легкостью Осип Эмильевич выучивал языки. «Божественную Комедию» читал наизусть страницами по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю¹ выучить его английскому языку, которого совсем не знал. О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив (например, к Блоку). О Пастернаке говорил: «Я так много думал о нем, что даже устал» и «Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки»². О Марине: «Я антицветаевец».

¹ Надя — Надежда Яковлевна Мандельштам (1899—1980), жена О. Э. Мандельштама. — *Ред.*

² Будущее показало, что он был прав (см. «Автобиографию» Пастернака, где он пишет, что в свое время недооценил четырех поэтов: Гумилева, Хлебникова, Багрицкого и Мандельштама).

В музыке Осип был дома, а это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты, называя ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Вторым и частым его огорчением были читатели. Ему постоянно казалось, что его любят не те, кто надо. Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки, легко запоминал прочитанное ему.

Любил говорить про что-то, что называл своим «истуканством». Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки. Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на «Тучке» и хохотали до обморочного состояния...

Я познакомилась с О. Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами вполщеки. Второй раз я видела его у Толстых на Старо-Невском, он не узнал меня, и Алексей Николаевич стал его расспрашивать, какая жена у Гумилева, и он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-то непоправимое, и назвала себя.

Это был мой первый Мандельштам, автор зеленого «Камня» (издание «Акмэ»), подаренного мне с такой надписью: «Анне Ахматовой — вспышки сознания в беспамятстве дней. Почтительно — автор».

Со свойственной ему прелестной самоиронией Осип любил рассказывать, как старый еврей, хозяин типографии, где печатался «Камень», поздравлял его с выходом книги, пожал ему руку и сказал: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше».

Я вижу его как бы сквозь редкий дым-туман Васильевского острова в ресторане бывш. Кинши (угол Второй линии и Большого проспекта; теперь там парикмахерская), где когда-то, по легенде, Ломоносов пропил казенные часы и куда мы (Гумилев и я) иногда ходили завтракать с «Тучки». Никаких собраний на «Тучке» не бывало и быть не могло. Это была просто студенческая комната, где и сидеть-то было не на чем. Описание five o'clock¹ на «Тучке» (Георгий Иванов — «Поэты») выдуманно от первого до последнего слова...

Этот Мандельштам был щедрым сотрудником, если не соавтором «Антологии античной глупости», которую члены Цеха поэтов сочиняли (почти все, кроме меня) за ужином:

Деляя, где ты была? — Я лежала в объятиях Морфея.
Женщина, ты солгала, — в них я покоился сам.

Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:
«Скифам любезно вино, мне же любезны друзья».

¹ ужин (англ.) — *Ред.*

Странник, откуда идешь? Я был в гостях у Шилея.
Дивно живет человек: смотришь, не веришь очам.

В бархатном кресле сидит, за обедом кушает гуся,
Кнопки коснется рукой, сам зажигается свет.

Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Странник, ответстуй, молю, кто же живет на Восьмой?

Помнится, это работа Осипа. Зенкевич того же мнения.

Эпиграмма на Осипа:

Пепел на левом плече, и молчи —
Ужас друзей — Златозуб.

Это, может быть, даже Гумилев сочинил. Куря, Осип всегда страшился пепел как бы за плечо, однако на плече обычно нарастала горстка пепла...

...Недавно найдены письма Осипа Эмильевича к Вячеславу Иванову (1909). Это письма участника Проакадемии (по «Башне»). Это — Мандельштам-символист. Следов того, что Вячеслав Иванов ему отвечал, пока нет. Их писал мальчик 18-ти лет, но можно поклясться, что автору этих писем — сорок. Там же множество стихов. Они хороши, но в них нет того, что мы называем Мандельштамом.

Воспоминания сестры Аделаиды Герцык утверждают, что Вяч. Иванов не признавал нас всех. В 1911 г. никакого пиетета к Вяч. Иванову в Мандельштаме не было. Цех бойкотировал «Академию стиха». См., например:

Вячеслав, Чеслав Иванов,
Телом крепкий как орех,
Академию диванов
Колесом пустил на Цех...

Когда в 1914 году Вяч. Иванов приехал в Петербург, он был у Сологубов на Разъезжей. Необычайно парадный вечер и великолепный ужин. В гостиной подошел ко мне Мандельштам и сказал: «Мне кажется, что один мэтр — зрелище величественное, а два — немного смешное».

В десятые годы мы, естественно, всюду встречались: в редакциях, у знакомых, на пятницах в «Гиперборее» (то есть у Лозинского), в «Бродячей собаке» (где он, между прочим, представил мне Маяковского. Как-то раз в «Собаке», когда все ужинали и гремели посудой, Маяков-

ский вздумал читать стихи. Осип Эмильевич подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр». Это было при мне. Остроумный Маяковский не нашелся, что ответить, о чем очень потешно рассказывал Харджиеву, в «Академии стиха» («Общество ревнителей художественного слова», где царил Вячеслав Иванов) и на враждебных этой «Академии» собраниях Цеха поэтов, где Мандельштам очень скоро стал первой скрипкой.

Тогда же он написал таинственное (и не очень удачное) стихотворение про «Черного ангела на снегу». Надя утверждает, что оно относится ко мне. С этим черным ангелом дело обстоит, мне думается, довольно сложно. Стихотворение для тогдашнего Мандельштама слабое и невнятное. Оно, кажется, никогда не было напечатано. По-видимому, это результат бесед с В. К. Шилейко, который тогда нечто подобное говорил обо мне. Но Осип тогда еще «не умел» (его выражение) писать стихи «женщине и о женщине». «Черный ангел», вероятно, первая проба, и этим объясняется его близость к моим строчкам:

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры
Словно розы в снегу цветут.

(Четки)

Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал. Известно, что беседы с Шилейко вдохновили его на стихотворение «Египтянин».

Гумилев очень рано и хорошо оценил Мандельштама. Символисты никогда его не приняли.

Приезжал Осип Эмильевич и в Царское. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его конфиденткой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его портрет в профиль на синем фоне с закинутой головой. Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался. Второй была Цветаева, к которой обращены крымские и московские стихи, третья — Саломея Андроникова, которую Мандельштам обессмертил в книге «Tristia» («Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...»). Я помню эту великолепную спальню Саломеи на Васильевском острове.

В Варшаву Осип Эмильевич действительно ездил, и его там поразило гетто (это помнит и М. А. Зенкевич), но о попытке самоубийства его, о которой сообщает Георгий Иванов, даже Надя не слыхивала, как и о дочке Липочке, которую она якобы родила.

В начале революции (1920), в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблен в актрису Александринского театра Ольгу Арбенину, ставшую женой

Ю. Юркуна, и писал ей стихи («За то, что я руки твои не сумел удержать...»). Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и к ее тени «в холодной стокгольмской могиле...»

Всех этих дореволюционных дам (боюсь, что между прочим и меня) он через много лет назвал «нежными европейками»:

И от красавиц тогдашних,
От тех европейок нежных
Сколько я принял смущенья,
Надсады и горя...

В 1933—1934 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено или, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка» (заглавие мое. — *А. А.*), лучшее, на мой вкус, любовное стихотворение 20-го века («Мастерица виноватых взоров...»). Мария Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк Мария Сергеевна знает на память.

Надеюсь, можно не напоминать, что этот «донжуанский список» не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок.

В Воронеже Осип дружил с Наташей Штемпель.

Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана.

Архистратиг вошел в иконостас,
В ночной тиши запахло валерьяном...¹—

то есть пародию на стихи Радловой Осип сочинил из веселого зловредства, а не *par dépit*¹ и с притворным ужасом где-то в гостях шепнул мне: «Архистратиг дошел», то есть Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении.

Десятые годы — время очень важное в творческом пути Мандельштама, и об этом еще будут много думать и писать (Виллон, Чаадаев, католичество...).

Мандельштам довольно усердно посещал собрания Цеха, но в зиму 1913/14 г. (после разгрома акмеизма) мы стали тяготиться Цехом и даже дали Городецкому и Гумилеву составленное Осипом и мною прошение о закрытии Цеха. Сергей Городецкий наложил резолюцию: «Всех повесить, а Ахматову заточить пожизненно». Было это в редакции «Северных записок».

Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 г., кроме изумительных стихов к О. Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени — о вечерах по-

¹ Намек на Валериана Адольфовича Чудовского — верного рыцаря Радловой.

² с досады (*фр.*). — *Ред.*

эзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком. Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта» еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Но стихи люди любили (главным образом молодежь) почти так же, как сейчас, т. е. в 1964 г.

В Царском, тогда — «Детское имени товарища Урицкого», почти у всех были козы; их почему-то всех звали Тамарами.

Что же касается стихотворения «Вполоборота, о печаль...», история его такова: в январе 1914 г. Пронин устроил большой вечер «Бродячей собаки», не в подвале у себя, а в каком-то большом зале на Конюшенной. Обычные посетители терялись там среди множества «чужих» (то есть чуждых всякому искусству) людей. Было жарко,людно, шумно и довольно бестолково. Нам это наконец надоело, и мы (человек 20—30) пошли в «Собаку» на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя поэзы, я что-то прочла. Подошел Осип: «Как вы стояли, как вы читали», и еще что-то про шаль...

Таким же наброском с натуры было четверостишие «Черты лица искажены...». Я была с Мандельштамом на Царскосельском вокзале. Он смотрел, как я говорю по телефону, через стекло кабины. Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строки...

II

Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом. Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово *народ* не случайно фигурирует в его стихах.

Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917—1918 гг., когда жила на Выборгской у Срезневских (Боткинская, 9) — не в сумасшедшем доме, а в квартире старшего врача Вяч. Вяч. Срезневского, мужа моей подруги Валерии Сергеевны.

Мандельштам часто заходил за мной, и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной Осип Эмильевич и на концерте Буто-

мо-Названовой в Консерватории, когда она пела Шуберта. К этому времени относятся все обращенные ко мне стихи: «Я не искал в цветущие мгновенья...», «Твое чудесное произношение...». Кроме того, ко мне в разное время обращены четыре четверостишия: 1) «Вы хотите быть игрушечной...» (1911), 2) «Черты лица искажены...» (10-е годы), 3) «Привыкают к пчеловоду пчелы...» (30-е годы), 4) «Знакомства нашего на склоне...» (30-е годы) и это странное, отчасти сбывшееся предсказание:

Когда-нибудь в столице шалой
На диком празднике у берега Невы
Под звуки омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...

После некоторых колебаний решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что может дать людям материал для превратного толкования характера наших отношений. После этого, примерно в марте, Мандельштам исчез. Тогда все исчезали и появлялись, и этому никто не удивлялся.

В Москве Мандельштам становится постоянным сотрудником «Знамени труда». Снова и совершенно мельком я видела Мандельштама в Москве осенью 1918 года. В 1920 г. он раз или два приходил ко мне на Сергиевскую, когда я работала в библиотеке Агрономического института и там жила. Тогда я узнала, что в Крыму он был арестован белыми, в Тифлисе — меньшевиками. Тогда же он сообщил мне, что в декабре 1919 г. в Крыму умер Н. В. Недоброво. Летом 1924 года Осип Эмильевич привел ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену. Надюша была то, что французы называют *laide mais charmante*¹. С этого дня началась моя с нею дружба, и продолжается она по сей день.

Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не уходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще, я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление.

В 1925 году я жила с Мандельштамами в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя, и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру, которая была неизменно повышенной, и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом. Осип Эмильевич каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги. Там он прочел мне совершенно по секрету стихи к О. Вакселя, которые я запомнила и также по секрету записала («Хо-

¹ Некрасивая, но очаровательная (*фр.*). — *Ред.*

чешь, валенки сниму...»). Там он диктовал П. Н. Лукницкому свои воспоминания о Гумилеве.

Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в Лицее. Я была у них несколько раз — приезжала кататься на лыжах. Жить они хотели в полуциркуле Большого дворца, но там дымили печи и текли крыши. Таким образом возник Лицей. Жить там Осипу не нравилось. Он люто ненавидел так называемый «царскосельский сюсюк» Голлербаха и Рождественского и спекуляцию на имени Пушкина.

К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм был ему противен. О том, что «Вчерашнее солнце на черных носилках несут...» — Пушкин, ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков.

Мою «Последнюю сказку» — статью о «Золотом петушке» он сам взял у меня на столе, прочел и сказал: «Прямо — шахматная партия».

...Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем

(декабрь 1917 г.) — конечно, тоже Пушкин.

Была я у Мандельштамов и летом в Китайской деревне, где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно не было никакой мебели, и зияли дыры прогнивших полов. Для Осипа Эмильевича нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский, и Карамзин. Уверена, что он нарочно, приглашая меня вместе с ними идти покупать папиросы или сахар, говорил: «Пойдем в европейскую часть города», будто это Бахчисарай или что-то столь же экзотическое. То же подчеркнутое невнимание в строке: «Там улыбаются уланы...» В Царском сроду улан не было, а были гусары, желтые кирасиры и конвой.

В 1928 году Мандельштамы были в Крыму. Вот письмо Осипа от 25 августа — день смерти Николая Степановича:

«Дорогая Анна Андреевна,

Пишем Вам с П. Н. Лукницким из Ялты, где все трое ведем суровую трудовую жизнь.

Хочется домой, хочется видеть Вас. Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется. В Петербург мы вернемся ненадолго в октябре. Зимовать там Наде не велено. Мы уговорили П. Н. остаться в Ялте из эгоистических соображений. Напишите нам.

Ваш О. Мандельштам».

Юг и море были ему почти так же необходимы, как Надя

На вершок бы мне синего моря,
На игольное только ушко.

Я довольно долго не видела Осипа и Надю. В 1933 году Мандельштамы приехали в Ленинград по чьему-то приглашению. Они остановились в Европейской гостинице. У Осипа было два вечера. Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом, читая наизусть страницами. Мы стали говорить о «Чистилище». Я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче):

Sopra candido vel cinta d'uliva
Donna m'apparve sotto verde manto
Vestita di color di fiamma viva...¹

Осип заплакал. Я испугалась — «Что такое?» — «Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом». Не моя очередь вспоминать об этом. Если Надя хочет, пусть вспоминает.

Осип читал мне на память отрывки стихотворения Н. Клюева «Хулителям искусства» — причину гибели несчастного Николая Алексеевича. Я своими глазами видела у Варвары Клычковой заявление Клюева (из лагеря, о помиловании): «Я, осужденный за мое стихотворение «Хулителям искусства» и за безумные строки моих черновиков». Оттуда я взяла два стиха как эпиграф — «Решка». А когда я что-то неодобрительно говорила о Есенине, Осип возражал, что можно простить Есенину что угодно за строчку: «Не расстреливал несчастных по темницам».

Попытки устроиться в Ленинграде были неудачны. Надя не любила все связанное с этим городом и тянулась к Москве, где жил ее любимый брат Евгений Яковлевич Хазин. Осипу казалось, что его кто-то знает, кто-то ценит в Москве, а было как раз наоборот. В его биографии поражает одна частность: в то время как (в 1933 г.) Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, persona grata и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь тогдашний литературный Ленинград (Троянов, Эйхенбаум, Гуковский) и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет, в Москве его никто не хотел знать, и кроме двух-трех молодых и неизвестных ученых-естественников Осип ни с кем не дружил (знакомство с Белым было коктейбельского происхождения). Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их «красавиц-жен». Союзное начальство вело себя подозрительно сдержанно.

¹ В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, облачена
В зеленый плащ и в платье огне-алом... (Перевод М. Лозинского). — Ред.

Из ленинградских литературоведов всегда хранили верность Мандельштаму Лидия Яковлевна Гинзбург и Борис Яковлевич Бухштаб — великие знатоки поэзии Мандельштама. Следует в этой связи не забывать и Цезаря Вольпе...

Из писателей-современников Мандельштам высоко ценил Бабеля и Зощенко, который знал это и очень этим гордился...

Осенью 1933 г. Мандельштам, наконец, получил (воспетую им) квартиру (две комнаты, пятый этаж, без лифта; газовой плиты и ванны еще не было) в Нащокинском переулке, и бродячая жизнь как будто кончилась. Там впервые завелись у Осипа книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка). На самом деле ничего не кончилось: все время надо было кому-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило.

Осип Эмильевич был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском говорил Пастернаку: «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений». Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно.

Кругом завелось много людей, часто довольно мутных и почти всегда ненужных. Несмотря на то, что время было сравнительно вегетарьянское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме.

Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили — не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: «Я к смерти готов». Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места.

Жить в общем было не на что — какие-то полупереводы, полурцензии, полубещания. Несмотря на запрещение цензуры, Осип напечатал в «Звезде» конец «Путешествия в Армению» (подражание древнему армянскому). Пенсии еле хватало, чтобы заплатить за квартиру и выкупить паек.

К этому времени Мандельштам внешне очень изменился: отяжелел, поседел, стал плохо дышать, производил впечатление старика (ему было 42 года), но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже.

Эта проза, такая неслышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя, но зато я постоянно слышу, главным образом от молодежи, которая от нее с ума сходит, что во всем XX веке не было такой прозы. Это так называемая «Четвертая проза».

Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. Осип Эмильевич, который очень болезненно переносил то, что сейчас называют культом личности, сказал мне: «Стихи сейчас должны быть гражданскими» и прочел: «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Примерно тогда же возникла его теория «знакомства слов». Много позже он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических. О своих стихах, где он хвалит Сталина: «Мне хочется сказать не Сталин-Джугашвили» (1935?), он сказал мне: «Я теперь понимаю, что это была болезнь».

Когда я прочла Осипу мое стихотворение «Уводили тебя на рассвете...» (1935), он сказал: «Благодарю вас». Стихи эти в «Реквиеме» и относятся к аресту Н. Н. Пунина в 1935 году. На свой счет Мандельштам принял (справедливо) и последний стих в стихотворении «Немного географии»:

Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными и тобой.

Тринадцатого мая 1934 года его арестовали. В этот самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда, где незадолго до этого произошло его столкновение с А. Толстым. Мы все тогда были такими бедными, что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей Палаты, последний данный Ремизовым в России (мне принесли его уже после бегства Ремизова — 1921), и фарфоровую статуэтку (мой портрет, работы Данько, 1924) для продажи. Их купила С. Толстая для Музея Союза писателей.

Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следовательно при мне нашел «Волка» и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь часов утра — было совсем светло. Надя пошла к брату, я к Чулковым на Смоленский бульвар, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, опять обыск. Евгений Яковлевич сказал: «Если они придут еще раз, то уведут вас с собой». Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину, я — к Енукидзе в Кремль. Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер Русланов через секретаря Енукидзе. Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: «А может быть, какие-нибудь стихи?» Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. (Приговор — 3 года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом звонил Пастернаку. Все связанное с этим звонком требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы — и Надя и Зина, и существует бесконечный фольклор... Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку. Остальное слишком известно.)

Вместе с Пастернаком я была и у Усиевич, где мы застали и союзное начальство, и много тогдашней марксистской молодежи. Была я у Пильняка, где видала Балтрушайтиса, Шпета и С. Прокофьева.

А в это время бывший синдик Цеха поэтов бывший Сергей Городецкий, выступая где-то, произнес следующую бессмертную фразу: «Это строчки той Ахматовой, которая ушла в контрреволюцию», — так что даже в «Литературной газете», которая напечатала отчет об этом собрании, подлинные слова оратора были смягчены (см. «Литературную газету» 1934 года, май).

Бухарин в конце своего письма к Сталину написал: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. «Если бы мой друг поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» — «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». — «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замаялся, а Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения».

Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы.

...«Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить». — «О чем?» — «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку.

Надя никогда не ходила к Борису Леонидовичу и ни о чем его не молила, как пишет Роберт Пейн.

Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш. Женщин приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные — в свежих весенних платьях: еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут; красавица «пленная турчанка» (как мы ее прозвали) — жена Зенкевича; ясноокая, стройная и необыкновенно спокойная Нина Ольшевская. А мы с Надей сидели в мятых вязанках, желтые и одеревеневшие. С нами были Эмма Герштейн и брат Нади.

Через пятнадцать дней рано утром Наде позвонили и предложили, если она хочет ехать с мужем, быть вечером на Казанском вокзале. Все было кончено. Нина Ольшевская и я пошли собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое своей сумочки.

На вокзал мы поехали вдвоем. Заехали на Лубянку за документами. День был ясный и светлый. Из каждого окна на нас глядели тараканы усища «виновника торжества». Осипа очень долго не везли. Он был в таком состоянии, что даже они не могли посадить его в тюремную карету. Мой поезд с Ленинградского вокзала уходил, и я не дождалась. Евгений Яковлевич Хазин и Александр Эмильевич Мандельштам проводили меня, вернулись на Казанский вокзал, и только тогда привезли Осипа, с ко-

торым уже не было разрешено общаться. Очень плохо, что я его не дождалась и он меня не видел, потому что от этого в Чердыни ему стало казаться, что я непременно погибла.

Ехали они под конвоем читавших Пушкина «славных ребят из железных ворот ГПУ».

В это время шла подготовка к первому съезду писателей (1934 г.), и мне тоже прислали анкету для заполнения. Арест Осипа произвел на меня такое впечатление, что у меня рука не поднялась, чтобы заполнить анкету. На этом съезде Бухарин объявил первым поэтом Пастернака (к ужасу Демьяна Бедного), обругал меня и, вероятно, не сказал ни слова об Осипе.

В феврале 1936 года я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала все подробности его «дела». Он рассказал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь челюскинцев считал поставленными в честь своего приезда.

Пастернак и я ходили к очередному верховному прокурору просить за Мандельштама, но тогда уже начался террор, и все было напрасно. Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен.

И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружие...

Вернувшись от Мандельштамов, я написала стихотворение «Воронеж». Вот его конец:

...А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед,
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

О себе в Воронеже Осип говорил: «Я по природе ожидальщик. Оттого мне здесь еще труднее».

В начале двадцатых годов (1921) Мандельштам дважды очень резко нападал на мои стихи в печати («Русское искусство», № 1 и 2—3). Этого мы с ним никогда не обсуждали. Но и о своем славословии моих стихов он тоже не говорил, и я прочла его только теперь (рецензия на «Альманах муз» (1916) и «Письмо о русской поэзии», 1922, Харьков).

Там, в Воронеже, его с не очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал (1937!): «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых». На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре».

В Воронеже при Мандельштаме был Сергей Борисович Рудаков, который, к сожалению, оказался совсем не таким хорошим, как мы думали. Он очевидно страдал какой-то разновидностью мании величия, если ему казалось, что стихи пишет не Осип, а он — Рудаков. Рудаков убит на войне, и не хочется подробно описывать его поведение в Воронеже. Однако все идущее от него надо принимать с великой осторожностью.

Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах «Петербургские зимы» Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале двадцатых годов и зрелого Мандельштама вовсе не знал, — мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти¹, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи. Все годится и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды. Вот что сделал Леонид Шацкий (Страховский) с Мандельштамом: у автора под рукой две-три книги достаточно «пикантных» мемуаров («Петербургские зимы» Г. Иванова, «Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица, «Портреты русских поэтов» Эренбурга, 1922). Эти книги использованы полностью. Материальная часть черпается из не весьма добросовестного и очень раннего справочника Козьмина «Писатели современной эпохи», М., 1928. Затем из сборника Мандельштама «Стихотворения» (1928) извлекается стихотворение «Музыка на вокзале» — даже не последнее по времени в этой книге. Оно объявляется вообще последним произведением поэта. Дата смерти устанавливается произвольно — 1945 г. (на семь лет позже действительной смерти — 27 декабря 1938 года). То, что в ряде журналов и газет до самого его ареста печатались стихи Мандельштама — хотя бы великолепный цикл «Армения» в «Новом мире» в 1930 г., Шацкого нисколько не интересует. Он очень развязно объявляет, что на стихотворении «Музыка на вокзале» Мандельштам кончился, перестал быть поэтом, сделался жалким переводчиком, опустился, бродил по кабакам и т. д. Это уже, вероятно, устная информация какого-нибудь парижского Георгия Иванова.

И вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи — мы имеем «городского сумасшедшего», проходимца, опустившееся существо. И все это в книге, вышедшей под эгидой лучшего, старейшего и т. п. университета Америки (Гарвардского), с чем и поздравляем от всей души лучший, старейший университет Америки...

Чудак? — Конечно, чудак! — Он, например, выгнал молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают. Смущенный юноша спускался по лестнице, а Осип стоял на верхней площадке и кричал вслед: «А Андрея Шеня печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа

¹ Там фигурирует «саратовская» деревня Блока, «рыжий» Комаровский и я, собирающая подаяния.

печатали?». С. Липкин и А. Тарковский и посейчас охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи.

Артур Сергеевич Лурье, который близко знал Мандельштама и который очень достойно написал об отношении Осипа Мандельштама к музыке, рассказывал мне (10-е годы), что как-то шел с Мандельштамом по Невскому и они встретили невероятно великолепную даму. Осип находчиво предложил своему спутнику: «Отнимем у нее все это и отдадим Анне Андреевне» (точность можно еще проверить у Лурье).

Но совсем не в этом дело. Почему мемуаристы этого склада (Шацкий (Страховский), Г. Иванов, Бен. Лившиц) так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, а главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют головы перед таким огромным и ни с чем не сравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут.

У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама?

В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву — к «себе», в Нащокинский. Я в это время гостила у Ардовых в том же доме. Осип был уже больным, много лежал. Прочел мне все свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Много говорил о Наташе (Штемпель), с которой дружил в Воронеже. (К ней обращены два стихотворения: «Клейкой клятвой пахнут почки...» и «К пустой земле невольно припадая...»)

Уже год, как, все нарастая, вокруг бушевал террор. Одна из двух комнат была занята человеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя показываться в этой квартире.

Разрешения остаться в столице Осип не получил. Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда Осип говорил Наде: «Надо уметь менять профессию. Теперь мы — нищие» и «Нищим летом всегда легче»¹.

Последнее стихотворение, которое я слышала от Осипа: «Как по улицам Киева-Вия...». Фонтанный Дом (1937).

Это было так. Мандельштамам было негде ночевать. Я оставила их у себя (в Фонтанном Доме). Постелила Осипу на диване. Зачем-то вышла, а когда вернулась, он уже засыпал, но очнулся и прочел мне стихи. Я повторила их. Он сказал: «Благодарю вас» и заснул.

В это время в Шереметевском Доме был так называемый «Дом занимательной науки». Проходить к нам надо было через это сомнительное заведение. Осип озабоченно спросил меня: «А может быть, есть другой занимательный выход?»

¹ Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и выгой...

В то же время мы с ним одновременно читали «Улисса» Джойса, он — в хорошем немецком переводе, я — в подлиннике. Несколько раз мы принимались говорить об «Улиссе», но было уже не до книг.

Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, «забыли» послать повестки, и никто не пришел. Осип по телефону приглашал Асеева. Тот ответил: «Я иду на «Снегурочку», а С., когда Мандельштамы попросили у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля.

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они (он и Надя) приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания Осипа Эмильевича о нем и обо мне и что они были безупречны. Многие ли наши современники, увы, могут сказать это о себе?

Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории около станции Черусти (в разгар ежовщины). В это время мой сын сидел на Шпалерной уже два месяца. О пытках все говорили громко. Надя приехала в Ленинград. У нее были страшные глаза. Она сказала: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер».

В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы (Э. Г. Герштейн): «У подружки Лены (Осмеркиной) родилась девочка, а подружка Надюша овдовела», — писала она.

Сейчас Осип Мандельштам — великий поэт, признанный всем миром. О нем пишут книги, защищают диссертации. Быть его другом — честь, врагом — позор. Готовят академическое издание его произведений. Находка одного его письма — событие.

...Для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав (вероятно, от Нади), как мне плохо в Фонтанном Доме, сказал мне, прощаясь (это было на Московском вокзале в Ленинграде): «Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что мой дом — ваш».

<1957—1964>

АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ

Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) — ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка;

во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне¹. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: «On communique»². Часто говорил: «Il n'y a que vous pour réaliser cela»³.

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предьсторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguière. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.

Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. *Очевидной* подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.

¹ Я запомнила несколько фраз из его писем, одна из них: «Vous êtes en moi comme une hantise» («Вы во мне как наваждение»).

² О, передача мыслей (*фр.*). — *Ред.*

³ О, это умеете только вы (*фр.*). — *Ред.*

В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен стук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется — от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела — уцелели ли они? Скульптуру свою он называл *la chose*¹ — она была выставлена, кажется, у *Indépendants*² в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография этой вещи.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (*tout le reste*) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют *Période nègre*³.

Он говорил: «*Les bijoux doivent être sauvages*»⁴ (по поводу моих африканских бус), и рисовал меня в них. Водил меня смотреть *le vieux Paris derrière le Panthéon*⁵ ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: «*J'ai oublié qu'il y a une île au milieu*»⁶. Это он показал мне находящийся Париж.

По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.

В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал *le vieux palais à l'Italienne*⁷, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.

Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса Х.⁸, та самая, которая на-

¹ вещь (*фр.*) — *Ред.*

² у Независимых (общество молодых художников) (*фр.*) — *Ред.*

³ Негритянский период. — *Ред.*

⁴ Драгоценности должны быть дикарскими (*фр.*) — *Ред.*

⁵ Старый Париж за Пантеоном (*фр.*) — *Ред.*

⁶ Я забыл, что посредине находится остров (Святого Людовика) (*фр.*) — *Ред.*

⁷ Старый дворец в итальянском вкусе (*фр.*) — *Ред.*

⁸ Цирковая наездница из Трансвааля (см. статью P. Guillaume «*Les arts à Paris*», 1920, № 6, с. 1—2). Подтекст, очевидно, такой: «Откуда же провинциальный еврейский мальчик мог быть всесторонне и глубоко образованным?»

зывает его «*perle et pourceau*»¹. Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой Х., т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить.

Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из «своего кафе», где он ежедневно витийствовал, шел в «свой ресторан» обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой «Почетного легиона», — а соседи шептались: «Анри де Ренье!»

Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: «*Mais Hugo — c'est déclamatoire?*»²

* * *

Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.

Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, — они так красиво лежали...»

Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, слышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.

То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов называлось «*vieux Paris*» или «*Paris avant guerre*»³. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались «*Au rendez-vous des cochers*»⁴, и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили «Пикассо и Брак». Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изысканной традицией дягилевские Ballets Russes (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

¹ Жемчужина и поросенок (*фр.*). — *Ред.*

² А Гюго — это декламатор? (*фр.*). — *Ред.*

³ «Старый Париж» или «Довоенный Париж» (*фр.*). — *Ред.*

⁴ «Встреча кучеров» (*фр.*). — *Ред.*

Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к 10-м годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена «Жар-птица». 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку».

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в *Taverne de Panthéon* два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы — тут большевики, а там меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (*jupes-culottes*), то почти пеленали ноги (*jupes entravées*). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Рене Гиль проповедовал «научную поэзию», и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали мэтра.

Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.

Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu' Anglois brûlerent à Rouen...¹

Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.

* * *

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в «Аполлоне» 1911 г.). Над «аполлоновской» живописью («Мир искусства») Модильяни откровенно смеялся.

Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.

Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»...

¹ И добрая Жанна из Лотарингии, сожженная англичанами в Руане... (*ста-рофр.*). — *Ред.*

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Как-то раз сказал: «J'ai oublié de vous dire que je suis juif»¹. Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а ему было двадцать шесть.

Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему — летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).

В это время ранние, легкие² и, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современной (1889) — Эйфелевой башней.

Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.

* * *

...а вокруг бушевал недавно победивший кубизм, оставшийся чуждым Модильяни.

Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило — Чарли Чаплин. «Великий немой» (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.

* * *

«А далеко на севере»... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...

Три кита, на которых ныне покоится XX век, — Пруст, Джойс и Кафка — еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.

¹ Я забыл вам сказать, что я еврей (*фр.*). — *Ред.*

² См. у Гумилева:

На т я ж е л ы х и гулких машинах
Грозовые пронзать облака.

* * *

В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просить, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали¹.

Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его «пьяным чудовищем» или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года, и обоим ждала громкая посмертная слава.

К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествия — это подмена истинного действия. «Les chants de Maldoor»² постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий, «вероятно очень важный господин» (надо думать — из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит...

Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много...

* * *

В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство «Всемирная литература»). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он — великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге «Стихи о канунах» и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге «От Монмартра до Латинского квартала», и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого-одиннадцатого годов

¹ Его не знали ни А. Экстер, которая дружила в Париже с итальянским художником С. (Соффичи), ни Б. Анреп (известный мозаичист), ни Н. Альтман, который в эти годы (1914—1915) писал мой портрет.

² «Песни Мальдорора» (*фр.*). — *Ред.*

совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.

Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма «Монпарнас, 19». Это очень горько!

Болишево, 1958—Москва, 1964

III

* * *

О книге, которую я никогда не напишу, но которая все равно уже существует, и люди заслужили ее. Сначала я хотела писать ее всю, теперь решила вставить несколько кусков из нее в повествование о моей жизни и о судьбах моего поколения. Эта книга задумана давно, и отдельные новеллы известны моим друзьям.

Биографию я принималась писать несколько раз, но, как говорится, с переменным успехом. В первый раз я стала писать свою биографию, когда мне было 11 лет, в разлинованной красным маминой книжке для записывания хозяйственных расходов (1900 г.). Когда я показала свои записи старшим, они сказали, что я помню себя чуть ли не двухлетним ребенком (Павловский парк, щенок Ральф и т. п.). Последний раз это было в 1946 г. Ее единственным читателем оказался следователь, который пришел арестовывать моего сына, а заодно сделал обыск и в моей комнате (6 ноября 1949). На другой день я сожгла рукопись вместе со всем моим архивом. Она, насколько помню, была не очень подробной, но там были мои впечатления 1944 года — «Послеблокадный Ленинград», «Три сирени» — о Царском Селе и описание поездки в конце июля в Териоки — на фронт, чтобы читать стихи бойцам. А также «Царь-Гриб» (Гунгербург, 1895) и «Мишка — будка, морда — окошко» (Киев, 1893). Их мне теперь трудно восстановить. Остальное же настолько окаменело в памяти, что исчезнет только со мною вместе.

Х., написавший предисловие к знаменитым мемуарам Кропоткина, неплохо характеризует этот лит<ературный> жанр (о Руссо, о Гете). Однако и он, конечно, не говорит главного: всякая попытка связных мемуаров — это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками...

<1957>

БУДКА

Я родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии — 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь — 23 июня (Midsummer Night). Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем. Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-ая станция паровичка) около Одессы. Дачка эта (вернее, изба-бушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли — рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.

Когда мне было 15 лет и мы жили на даче в Лустдорфе, проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала», — сказала она.

1957

ДОМ ШУХАРДИНОЙ

...Этому дому было сто лет в девяностых годах 19-го века, и он принадлежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в этом доме «до чугунок», то есть до <18>38 года, находился заезжий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде мезонина). В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны (на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске — сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник Б. Неволин за работой. Он в зеленом переднике, с мертвенно бледным, отекившим лицом запойного пьяницы. Из окна несется зловещая сапожная вонь. Все это могло бы быть превосходным кадром современной кинокартины. Перед домом по Широкой растут прямые складные дубы средних лет; вероятно, они и сейчас живы; изгороди из кустов кротегуса.

Мимо дома примерно каждые полчаса пронесется к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысак богачей, полицмейстер барон Врангель — стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто

тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобиля еще не было.

По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесен зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками — репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами (об этом я сказала в 40-м году, вспоминая пушкинский «ветхий пук дерев» в стихотворении «Царское Село» 1820 г. — «Я лопухи любила и крапиву...»).

По одной стороне этого переулочка домов не было, а тянулся, начинаясь от шухардинского дома, очень ветхий, некрашенный дощатый глухой забор. Вернувшийся осенью того (1905) года из Березок и уже не заставший семьи Г<оренко> в Царском Н. С. <Гумилев> был очень огорчен, что этот дом перестраивают. Он после говорил мне, что от этого в первый раз в жизни почувствовал, что не всякая перемена к лучшему. Не туда ли он заехал в своем страшном «Заблудившемся трамвае»:

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...

Ни Безымянного переулочка, ни Широкой улицы давным-давно нет на свете. На этом месте разведен привокзальный парк или сквер.

Весной 1905 года шухардинский дом был продан наследниками Шухардиной, и наша семья переехала в великолепную, как тогда говорили, барскую квартиру на Бульварной улице (дом Соколовского), но, как всегда, тут все и кончилось. Отец «не сошелся характером» с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Дети с бонной Моникой были отправлены в Евпаторию. Семья распалась. Через год — 15 июня 1906 г. — умерла Инна. Все мы больше никогда не жили вместе.

Напротив (по Широкой) была в первом этаже придворная фотография Ган, а во втором жила семья художника Клевера. Клеверы были не царскоселы, жили очень уединенно и в сплетнях унылого и косного общества никакого участия не принимали. Для характеристики «Города Муз» следует заметить, что царскоселы (включая историографов Голлербаха и Рождественского) даже понятия не имели, что на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев. Не плохо было бы хоть теперь (пишу в 1959 году) назвать эту улицу именем Тютчева.

Дом Анны Ивановны Гумилевой стоял тоже на Малой (63). Но мне не хочется его вспоминать как Шухардинский дом, и я никогда не вижу его во сне, хотя жила в нем с 1911 до 1916 года, и никогда не перестану благословлять судьбу за то, что не оказалась в нем во время Революции.

Людям моего поколения не грозит печальное возвращение — нам возвращаться некуда... Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского Вокзала (когда так пустынно и душно в парках) на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться (да еще в бензинной жестянке) в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас.

...А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме».

И мне (потом, когда я вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего девятнадцатого века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце — было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным.

< 1959 >

* * *

В Царском Селе я жила в общем с двух до шестнадцати лет. Из них одну зиму (когда родилась сестра Ия) семья провела в Киеве (Институтская ул.)¹ и другую в Севастополе (Соборная, дом Семенова). Основным местом в Царском Селе был дом купчихи Шухардиной (Широкая,

¹ Там история с медведем в Шато де Флер, в загородку которого мы попали с сестрой Рикой, сбежав с горы. Ужас окружающих. Мы дали слово бонне скрыть событие от мамы, но маленькая Рика, вернувшись, закричала: «Мама, Мишка — будка, морда — окошко». А наверху в Царском саду я нашла булавку в виде лиры. Бонна сказала мне: «Это значит, ты будешь поэтом». Но самое главное случилось не в Киеве, а в Гунгербурге, когда мы жили на даче Крабау — я нашла Царь-Гриб.

второй дом от вокзала, угол Безымянного переулка). Но первый год века (1900) семья жила (зиму) в доме Дауделя (угол Средней и Леонтьевской). Там корь и даже может быть оспа.

* * *

СЛЕПНЕВО

Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев. В моей комнате (на север) висела большая икона — Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть... Над диваном висел небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге — почти как экзотика, а просто, серьезно по-Онегински («Царей портреты на стене»). Было ли в комнате зеркало — не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо. Там я встретила войну 1914 года, там провела последнее лето (1917).

...Присяжная косила глазом и классически выгибала шею. Стихи шли легкой свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло — никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну...

Бабы выходили в поле на работу в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй.

В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К Слепневским господам хранцужанка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин — очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называли меня знаменитой лондонской мумией, которая всем принесит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал: «такая скучная не золотая старина» и наполнял альбом Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, что-то понял и чему-то научился.

Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате (1911)...

Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в девятнадцатый век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина.

на, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год. После утрюмого военного Севастополя, где я задыхалась от астмы и мерзла в холодной наемной комнате, мне казалось, что я попала в какую-то обетованную страну. А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали революции, которая была назначена на 20 января (в этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: «В день Русской Революции». Другой рисунок (сохранившийся) он надписал: «Солдатке Гумилевой от чертежника Альтмана»).

* * *

Слепнево для меня как арка в архитектуре... сначала маленькая, потом все больше и больше и наконец — полная свобода (это если выходить).

ГОРОД

О «красоте» Петербурга догадались художники-мирискусники, которые, кстати сказать, открыли и мебель красного дерева. Петербург я начинаю помнить очень рано — в девяностых годах. Это в сущности Петербург Достоевского. Это Петербург дотрамвайный, лошадиный, коночный, грохочущий и скрежещущий, лодочный, завешанный с ног до головы вывесками, которые безжалостно скрывали архитектуру домов. Воспринимался он особенно свежо и остро после тихого и благоуханного Царского Села. Внутри Гостиного двора тучи голубей, в угловых нишах галерей большие иконы в золоченых окладах и неугасимые лампы. Нева — в судах. Много иностранной речи на улицах.

В окраске домов очень много красного (как Зимний), багрового, розового и совсем не было этих бежевых и серых колеров, которые теперь так уныло сливаются с морозным паром или ленинградскими сумерками.

Тогда еще было много великолепных деревянных домов (дворянских особняков) на Каменноостровском проспекте и вокруг Царскосельского вокзала. Их разобрали на дрова в 1919 году. Еще лучше были двухэтажные особняки XVIII века, иногда построенные большими зодчими. «Плохая им досталась доля» — их в 20-х годах надстроили. Зато зелени в Петербурге 90-х годов почти не было. Когда моя мама в 1927 году в последний раз приехала ко мне, то вместе со своими народовольческими воспоминаниями она невольно припомнила Петербург не 90-х, а 70-х годов (ее молодость), она не могла надивиться количеству зелени. А это было только начало! В XIX веке были гранит и вода.

ДАЛЬШЕ О ГОРОДЕ

Три замечания

I. Сейчас с изумлением прочла в «Звезде» (статья Льва Успенского), что Мария Федоровна каталась в золотой карете. Бред! — Золотые кареты, действительно, были, но им полагалось появляться лишь в высокопраздничных случаях — коронации, бракосочетания, крестин, первого приема посла. Выезд Марии Федоровны отличался только медалями на груди кучера.

II. Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100?

Глазам не веришь, когда читаешь, что на петербургских лестницах всегда пахло жженым кофе. Там часто были высокие зеркала, иногда ковры. Ни в одном респектабельном петербургском доме на лестнице ни пахло ничем, кроме духов проходящих дам и сигар проходящих господ. Товарищ, вероятно, имел в виду так называемый «черный ход» (ныне, в основном, ставший единственным) — там, действительно, могло пахнуть чем угодно, потому что туда выходили двери из всех кухонь. Например, блинами на Масляной, грибами и постным маслом в Великом посту, невской корюшкой — в мае. Когда стряпали что-нибудь пахучее, кухарки отворяли дверь на черную лестницу — «чтобы выпустить чад» (это так и называлось), но все же черные лестницы пахли, увы, чаще всего кошками.

III. Вечером вуали носили только проститутки.

* * *

Звуки в петербургских дворах. Это, во-первых, звук бросаемых в подвал дров. Шарманщики («пой, ласточка, пой, сердце успокой...»), точильщики («точу ножи, ножницы...»), старьевщики («халат, халат»), которые всегда были татарами. Лудильщики. «Выборгские крендели привез». Гулко на дворах-колодцах.

Дымки над крышами. Петербургские голландские печи. Петербургские каминные — покушение с негодными средствами. Петербургские пожары в сильные морозы. Колокольный звон, заглушаемый звуками города. Барабанный бой, так всегда напоминающий казнь. Санки с размаху о тумбу на горбатых мостах, которые теперь почти лишены своей горбатости. Последняя ветка на островах всегда напоминала мне японскую гравюру. Лошадиная обмерзшая в сосульках морда почти у вас на

плече. Зато какой был запах мокрой кожи в извозничьей пролетке с поднятым верхом во время дождя. Я почти что все «Четки» сочинила в этой обстановке, а дома только записывала уже готовые стихи...

НАБРОСОК

19 апреля 1962
Ленинград—Москва

Это написано для Вас, это Вам почему-то пришло в голову в великопепном марте 1962 года показать мне (может быть, в последний раз) сквозь беспощадное солнечное сияние страшный фон моей жизни и моих стихов: от разбойной безиконной столовой в Петровском домике и чудовищной могилы царевича Алексея под лестницей в Петропавловском соборе до пруда, куда в семнадцатом году бросили труп Распутина. И пустые окна Мраморного дворца («Там пью я с тобой золотое вино...») и угол Марсова Поля, откуда не хочет и не может уйти моя поэма; и ворота, в которые мы когда-то входили, чтобы по крутой подвальной лестнице сойти в пеструю, прокуренную, всегда немного таинственную «Бродячую собаку»;¹ и на Жуковской «вылеп головы кобылей», который я видела в последний раз в день смерти Маяковского. Стену бывшей конюшни ломали, серый двухэтажный особняк надстраивали. И самый страшный дом в городе (угол Садовой, наискосок от Никольского рынка) — там Раскольников убил старуху. Дом этот совсем недавно снесли, и на его место поставлен пузатый урод.

Первый (нижний) пласт для меня — Петербург 90-х годов, Петербург Достоевского. Он был с ног до головы в безвкусных вывесках (белье, корсеты, шляпы), совсем без зелени, без травы, без цветов, весь в барабанном бое, так всегда напоминающем смертную казнь, в хорошем столичном французском языке, в грандиозных похоронных процессиях и описанных Мандельштамом высочайших проездах.

Мимо Фонтанного Дома мы, кажется, не проезжали. Это было бы уже слишком...

Снятые давным давно надписи: «Дому сему подобает святыня Господня в долготу дней» на Инженерном замке, «Господеви помолитесь во святем дворе его» на Владимирском соборе — выступали на фронтонах.

¹ См. «Последние полчаса в «Собаке». Это было так: Б. В. Томашевский зашел за мной, чтобы отвести меня на канал Грибоедова в сент <ябре> 1941 к дворнику Мосею в бомбоубежище. Мы на Мих <айловской> площади вышли из трамвая. Тревога! — всех куда-то гонят. Мы идем. Один двор, второй, третий. Крутая лестница Пришли. Сели и одновременно произнесли: «Собака».

Гигантская копилка у церкви (где я слушала «канон Андрея Критского») и на которой было написано: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше», снова стояла на своем месте.

...И два окна в Мих<айловском> замке, кот<орые> остались такими же, как в 1801 г<оду>,¹ и казалось, что за ними еще убивают Павла, и Семеновские казармы, и Семеновский плац, где ждал смерти Достоевский, и Фонтанный Дом — целая симфония ужасов: от тишайших — «Шереметевские липы, переключка домов<ых>...» до мирового резонанса 14 авг<уста> 1946 г<ода>:

Я была со всеми,
С этими и с теми,
А теперь осталась
Я сама с собой.

И военная прокуратура на Невском рядом с знаменитой лавкой «Смерть мужьям»; и чайки около Литейного моста, через который я ходила в тюремные очереди под Крестами (тюрьма № 1) — «...и трехсотая с передачею...»; и Арка Штаба, где был военный суд и где судили сына; и Летний — первый, благоустроенный, замерший в июльской неподвижности, и второй, под водой в 1924 г<оду>, и снова Летний, изрезанный зловонными рвами — щелями (1941); и Марсово — плац-парад, где ночью обучали новобранцев в 1915 г<оду> (барабан), и Марсово — огород, уже разрытый, полузаброшенный (1921), «под тучей вороньих крыл»; и ворота, откуда вывозили на казнь народовольцев, и близко от них — грузный дом Мурузи (уг<ол> Литейного), где я в последний раз в жизни видела Н. С. Гумилева (в тот день, когда меня нарисовал Ю. Анненков).

...И друзья, превратившиеся в мемориальные доски (Лозинский); и Соловьевский переулок, куда мы не переехали из-за войны 1914 г<ода> («Как щелочка чернеет переулок...»); и меблированный дом «Нью-Йорк» (против Зимнего дворца), где меня писал Натан Альтман,² и откуда я выходила через окно седьмого этажа, «чтоб видеть снег, Неву и облака», и шла по карнизу навестить Веню и Веру Белкиных.

Все это — мой Ленинград...

¹ Комната была заперта до 1917 г<ода>.

² Гранди (ит<альянский> художн<ик>, живший рядом) зашел взглянуть на почти готовый портрет Альтмана. Это он произнес бессмертную фразу, кот<орую> так любил повторять Мандельштам: «Будет большой *змея*» (очевидно, смех).

ИСКРА ПАРОВОЗА

Я ехала летом 1921 г. из Царского Села в Петербург. Бывший вагон III класса был набит, как тогда всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять место, сидела и смотрела в окно на все — даже знакомое. И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек (рифм). Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла какую-то дохлую Сафо, но... спичек не было. Их не было у меня, и их не было ни у кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные, красные, еще как бы живые, жирные искры паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать (прижимать) к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Эта не пропадет», — сказал один из них про меня. Стихотворение было: «Не бывать тебе в живых...» См. дату в рукописи — 16 августа 1921 (может быть, старого стиля).

<1962>

БЕРЕЗЫ

Во-первых, таких берез еще никто не видел. Мне страшно их вспомнить. Это наваждение. Что-то грозное, трагическое, как «Пергамский алтарь», великолепное и неповторимое. И кажется, там должны быть вороны. И нет ничего лучше на свете, чем эти березы, огромные, могучие, древние, как друиды, и еще древней. Прошло три месяца, а я не могу опомниться, как вчера, но я все-таки не хочу, чтобы это был сон. Они мне нужны настоящие.

<1960>

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Коротко о себе	3
I.	
Слово о Пушкине	6
Пушкин и дети	7
Все было подвластно ему	8
Слово о Данте	9
II.	
Воспоминания об Александре Блоке	10
Михаил Лозинский	13
Из воспоминаний о Мандельштаме (Листки из дневника)	15
Амедео Модильяни	30
III.	
* «О книге, которую я никогда не напишу...»	37
Будка	38
Дом Шухардиной	38
* «В Царском Селе я жила...»	40
Слепнево	41
Город	42
Дальше о городе	43
* Набросок	44
Искра паровоза	46
Березы	46

АХМАТОВА Анна Андреевна

СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ

Редактор С. С. Лесневский

Составитель В. А. Черных

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 27.09.89. Подписано к печати 20.11.89. Формат
70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная
печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 2,99.

Тираж 150000 экз. Заказ № 1262.

Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1982 ГОДА — выпущен 1 января 1982 г. сроком на 20 лет в облигациях достоинством в 25, 50 и 100 рублей.

Облигация в 100 рублей состоит из двух пятидесятирублевых облигаций одной серии с двумя номерами облигация в 25 рублей является половиной пятидесятирублевой.

Облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года являются удобной и выгодной формой хранения денежных сбережений населения. Облигации займа свободно продаются и покупаются учреждениями Сберегательного банка СССР и принимаются от их владельцев на хранение.

Ежегодно по займу проводятся 8 тиражей выигрышей: 15 февраля, 20 марта, 15 мая, 30 июня, 15 августа, 30 сентября, 15 ноября, 30 декабря.

По займу можно выиграть 10 000, 5 000, 2 500, 1 000, 500, 250 и 100 рублей на пятидесятирублевую облигацию, включая ее нарицательную стоимость.

Владелец выигрыша в 10 000 рублей имеет право на внеочередную покупку автомобилей «Волга», «Жигули» или «Москвич», а выигрыша в 5 000 рублей — автомобилей «Жигули» или «Москвич».

Разница между стоимостью автомобиля и суммой выигрыша вносится владельцем выигравшей облигации.

**СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР
К ВАШИМ УСЛУГАМ!**